

## Возрождение философии<sup>1</sup>

Речь при вступлении в должность ректора Королевского Фридрих-Вильгельм-Университета Берлина, 15 октября 1907 г.

Глубокопочтимое собрание!  
Коллеги! Товарищи!

Перед нашим университетом, в ожидании сноса, еще стоит старое здание Академии. Зимой 1807-08 гг., сто лет тому назад, в круглом зале на западной его части Фихте выступил со своими «Речам к немецкой нации»\*. Как бы ни относиться к воспоминаниям столетней давности, мы, немцы, поступим правильно, если в нынешних обстоятельствах со всей отчетливостью сохраним эти образы перед нашим взором. Посреди поверженного, отчаявшегося народа, под гнетом чужеземного оружия, бесстрашный философ обратился к немцам, воззвав к сознанию их принадлежности друг другу, их достоинству и силе, их долгу по отношению к самим себе и человечеству. Далекому от мира идеалисту удалось внутренне подготовить свою нацию к великим подвигам, ей предстоящим, а также – как он и надеялся – «возжечь из этого средоточия пламя отечески ориентированной мысли». Мы вечно останемся ему за это благодарны, хотя и воздержимся от некоторых крайностей. Да и сам Фихте пусть и не одобрил бы всего в нашей современной культуре, все же остался бы доволен местом, которое занимает в мире его немецкая нация. Он приветствовал бы ее смелую тягу к предпринимательству, ее деятельную силу во всех областях. Он с изумлением увидел бы, что воплотилось в жизнь многое, казавшееся в его эпоху невозможным, например, участие в мировой торговле\*.

Однако в связи с влиянием идей Фихте на наше современное сознание существует странный контраст между его этическими идеями всех его произведений, обращенных к широкому читателю, и его эзотерическим «Наукоучением». Насколько непосредственно и живо касается нас первое, настолько труднодостижимо, чуждо и едва ли вызывает у нас ответный отклик второе. Словно не сто, а тысяча лет отделяет его от нас. То же самое следует сказать и о философии природы Шеллинга и логике Гегеля.

Быстрое старение так называемых идеалистических систем того времени никоим образом не есть общая проблема философских теорий как таковых, ведь основные положения философии Лейбница, отстоящей от нас еще на одно столетие, понятны и сегодня. Сегодня они, быть может, даже понятнее, чем свое время. <...> Итак, быстрое старение идеалистических систем прошлого века должно иметь свои особые причины.

Поскольку сегодня много говорят о возрождении философии, часто подразумевая возвращение на некогда покинутый путь, разрешите мне, Вашему новому Ректору, обобщить некоторые впечатления и мысли о тенденции движения философии со времен Гегеля. <...> Развитие философии XIX-го века не есть постоянный органический рост научного мира идей. Гегеля и современность, вне всякого сомнения, разделяет катастрофа. Причем наступила она довольно скоро после смерти Гегеля. <...> От чистой мысли движение шло к чистой материи. Людвиг Фейербах, Фогт и Бюхнер, Маркс и Энгельс, Макс Штирнер, – вот кто стали новаторами последующих десятилетий. Это нефилософское течение <...> не случайно сменил абсолютный идеализм. Возник он как вполне понятная реакция, вытекающая из натяжек и заблуждений идеализма. <...> Однако застой не затянулся надолго <...> [он] начинается уже в шестом и седьмом десятилетии ушедшего века. Лотце и Фехнер нашли новый путь. Некоторым импульсам они еще были обязаны идеалистической философии. Но силы, благодаря которым медик Лотце и физик Фехнер творили Новое и Жизнеспособное, шли из профессионального естественнонаучного образования. <...> истоки их силы заключены в самостоятельно развиваемой и с тех пор настолько более богато развитой эмпирической дисциплине. Таким образом, именно отсюда, из психологии, разрабатываемой в естественнонаучном духе, в философию проникла новая жизнь. <...>

---

<sup>1</sup> Перевод с нем. И.А. Михайлова. Сохранены только наиболее важные для целей моего доклада пассажи; примечания удалены.

Я вынужден отказаться сейчас от рассмотрения знаков философского возрождения в истекшем столетии и подробного обсуждения их причин. Спрошу только: как обстоит дело сегодня? В правильном ли направлении мы идем? Не блуждаем ли мы впотьмах? Быть может, следует совершенно изменить курс?

При такой постановке вопроса полезно вспомнить о потребностях, из которых возникает философия. От нее во все времена ожидали двойного. Во-первых, соединяя всеобщие понятия наук в единую взаимосвязь, она должна дать завершение нашему знанию, при этом в методическом плане демонстрируя образцовую точность и остроту. Ведь всякая наука стремится к всеобщности в проблеме (Sache) и очевидности в форме; царица же наук, – если она претендует на это гордое имя, – должна стремиться к обоим качествам в превосходной степени. Во-вторых, с этой чисто теоретической связана и практическая задача: дать восприимчивой душе надежнейшую опору и мощнейший импульс, который – если не брать в расчет различного рода религиозные чувства и традиции – возможен лишь благодаря размышлению о мире и его развитии. Нас, способных к восприятию философии, она должна возвысить над брэнной землей, ничтожностью повседневной жизни. Она должна помочь нам выстоять перед тяготами судьбы, а в ситуациях сомнения разглядеть путь долга. И осуществит все это философия она как раз посредством того возвышения рассудка, которое, продвигаясь к пределам познания, разделяет видимость и действительное, случайное и необходимое, временное и вечное, научит распознавать одно в другом и на основании другого.

В этих двух требованиях сходятся все серьезные направления философии. Однако они тут же расходятся в вопросе о том, как возможно достичь желаемой высокой цели. Философствуют либо на основе прочих наук, либо независимо от них. Господство бывает либо конституционным, либо авторитарным. Технические выражений, вполне соответствующих этому различию, у нас нет. Однако часто используемые обозначения “философия опыта” и “априорная философия” по своему значению довольно близки, чтобы мы могли здесь для краткости ими воспользоваться.

Философия опыта вырастает из частных наук и стремится сохранять с ними теснейшую связь. Она, по возможности, говорит на их языке, следует тем же самым методам, разве что местами что-то углубляя и расширяя. Она признает данное и берет его в качестве критерия, которому с тем или иным успехом должно соответствовать мышление, подобно интерпретации имеющегося текста (пусть даже в него и приходится временами вносить исправления). Итак, подобная философия, стремится к относительной завершенности – насколько та представляется возможной при уровне знания соответствующей эпохи. Эта философия верит, что подобное относительное завершение имеет освободительный и возвышающий эффект и что каждая новая ступень предоставляет новые жизненные импульсы. Даже сама незавершенность познания представляется фактом утешительным, вдохновляющим. Ведь она обещает человечеству дальнейшее движение, а душе оставляет свободу бесконечных прозрений. Между тем, определенность завершения, какой бы великолепной она не казалось, должна бы создать отвратительные, уничтожающие саму нашу высшую природу границы.

Априористские же направления философии даны в исторически различных обликах. Во вполне оформленной и законченной форме априоризм предстает в идеализме прошлого столетия, резко отделившем философский метод от естественнонаучного. Вместо нот, которые мы только что слышали, он берет прямо противоположные. Его мелодии нисходят сверху вниз. Однако есть в них и некая глубокая нота, исходящая из сущности нашей души. Это – тот фаустовский элемент, который столь непревзойденно отразили наши поэты, отчего легенды о Фаусте оказываются любимой темой столь многих приверженцев этого стиля мышления. Презрительно отвергая медленное продвижение в работе над деталями, тоска по совершенству сосредотачивается на природе Божества, надеясь из нее постичь действительное как необходимое, а ущербное как совершенное.

История показывает нам, какие мотивы философских движений могут привести к этому повороту. Ими были в первую очередь чувство и воля, горячо требовавших участия в формировании мировоззрения. Наше мышление может быть руководимо либо своими собственными мотивами, следуя сути дела (Sache) или логической очевидности, или же оно может быть изначально определяться в своих убеждениях чувством и волей. Если даже усомниться в том, достижима когда либо позиция чисто содержательного (sachlichen) мышления, то в науке все же имеется отчетливо выражена тенденция к нему. <...> Всякое знание <...> покоится на вере, а вера – на воле. Таков был решающий поворот, с которого началось развитие немецкого идеализма.<...>

Но история сообщает и о двух других движениях того времени, сущностно важных для понимания немецкого идеализма: подъеме наук о духе и одновременном расцвете немецкой поэзии. <...> В то же время начался процесс любовного погружения в собственное прошлое, приведший позднее к немецкой науке древностей\* и истории литературы. В отличие от естествознания, науки о духе стремятся не только лишь к знанию внешних связей своих предметов. Они желают обеспечить ретроспективное понимание\* развития духовной жизни, преобразовать прошлое в живую, чувствуемую современность. Они на это способны, и в этом их уникальное преимущество, однако в нахождении точных законов науки о духе находятся далеко позади наук естественных. Подобное ретроспективно-вчувствующее познание\* немецкие идеалисты считали образцом всякого познания. <...> В соответствии с этим идеалом они старались формировать и познание природы. Такова одна их характернейших черт немецкого идеализма. Тем же путем шла наша поэзия и еще более – создаваемое романтиками поэтически-пантеистическое мировоззрение. Став в оппозицию всякому математически-механическому объяснению, оно полагало, что постигает самое существо природы. Многочисленные тесные связи идеалистических философов с поэтами своего времени хорошо известны.

Но философия сама теперь превратилась в своего рода поэзию, в ту смесь мышления и поэзии, которую мы называем мистикой. Если послушать Шеллинга, нам покажется, будто с нами говорят Плотин или Якоб Бёме; да и сам Шеллинг видел это родство. <...>

В этой области повсюду обнаруживается сильное влияние художественных элементов. Место доказательства занимает эстетическое членение, равновесное построение системы. В особенности это касается триадичности. Вместо предметно (sachlich) убедительного разъяснения – страстная, богатая образами красота языка. <...>

Но <...> возникает прежний вопрос: не будет ли правильнее, предоставить поэзию – поэзии, а в философии насколько, возможно, следовать путем, по которому идет всякая наука? История показывает нам, что, несмотря на родство, связывающее между собой все духовные проявления жизни, несмотря на значения фантазии для мышления и мышления для фантазии, прогресс в поэзии и фантазии определяется все-таки разными условиями развития. В отличие от Гегеля, Шиллер и Гете не стали жертвами катастрофы, о которой мы говорили. Чистая наука и чистая поэзия существуют вечно. К упадку ведет только их принципиальное смешение. Если чувство где-то и должно встать на место трезвого исследования, то произойти это может лишь в пограничных областях знания, и границам этим следует быть, насколько возможно, отдаленным. Нельзя с самого начала предлагать наиболее всеобщей и высшей науке иной орган, другой метод, другое духовное устройство, нежели всем другим наукам.

Необходимым следствием подобной позиции философского мышления становится абсолютизм. Похваляясь им, Фихте создал систему, «которая, будучи в чистоте замкнутой в самой себе, неизменной и непосредственно очевидной, давала бы первые основоположения и руководства всем прочим наукам, тем самым навсегда устраняя все споры и непонимания в области научного» <...> Отсюда следует, кстати, и догматическая нетерпимость, пинками заставляющая замолчать любое возражение. <...> когда великие идеалисты воюют даже между собой, обмениваясь упреками, едкими насмешками, а не аргументами, когда затем всей этой компании, почти в тех же выражениях выносит приговор Шопенгауэр, – то дело тут не только в общих качествах темперамента, а в целом габитусе мышления, на который они с самого начала настроились. Габитусе, принципиально исключающем взаимопонимание, разделение работы, исправление одного другим и взаимное признание таких поправок. Я говорю «в принципе», поскольку фактическое положение дел показывает: такие же беды, как и здесь, к сожалению, обнаруживаются, и в других областях науки.

В государстве наук подобные принципы недопустимы даже для королей, это никакому сомнению не подлежит. Однако те принципы неизбежно сопровождают однажды выбранный путь, а потому наблюдаются во всех подобных эпохах с той же закономерностью, как и триадичный (у некоторых четырехтактный) сердечный ритм системы, верный симптом мистически повышенной температуры мышления. Насилие над действительностью, которую влекут за собой подобные схематизации, всякий раз губит не действительность, но и сами системы.

Отсюда следует, что из двух путей философии к дальнейшему плодотворному развитию может привести только тот, что ориентируется на опыт в указанном смысле, а также что из двух психологических манер поведения свою силу должна сохранять приоритетность рассудочности в философии. Вполне возможно, что при этом следует придавать бóльший вес возвышению жизни

чувств. Я не думаю ратовать за прославление чистого знания. Однако пока речь идет о науке, временную последовательность и вопрос приоритетности смешивать нельзя. <...>

Необходимо подумать еще, с чего целесообразнее начинать ли философу: с естественных или гуманитарных наук? Вся современная философия в этом вопросе разделена, и разделение это оказывает влияние также и на оценку конструктивных систем, о которых мы говорили. От них, их абсолютизма и метода в целом многие сегодня отказываются, соглашаясь, однако, с тем, что исследование высших законов и норм духовной жизни, главная задача философии, может быть удачным лишь на основе наук о духе.

Важным я считаю прежде всего то, чтобы философ изучил и тренировался (geübt) хотя бы в каком-то ремесле, т.е. испытал бы свои силы в какой бы то ни было конкретной области, будь то науки о духе или науки о природе. Ему следует на своем собственном опыте познать радости и разочарования конкретного исследования. Позитивными результатами он должен заслужить себе право голоса в научном сообществе, он должен овладеть языком наук, поучать которые он вознамерился.

Для тех же, кто нацелен не на частные области философии, например философию права или искусства, а на обретение удовлетворительного понимания мира, специальное и широкое естественнонаучное образование я считаю безусловно необходимым. Такой человек должен быть воспитан математикой и науками о природе, преисполненным их духа и материала. Что касается Фихте, Шеллинга, Гегеля – а также и Шопенгауэра – то они, несмотря на все их усилия, естествознанию своего времени были внутренне чужды. Не на нем они были воспитаны. Они лишь задним числом пытались навязать области природы понятия, формы мышления, имеющие совершенно иное происхождение. Неудивительно, что это не удалось. Между тем Лейбниц тонко чувствовал великие достижения математики и естествознания своего времени, да и сам был одним из величайших участников этих открытий. Только эта причина и объясняет его сегодняшнюю актуальность. При этом он был еще теологом, историком, юристом и политиком, и это придавало его системе невероятную масштабность и размах; однако же устойчивость и стабильность ей обеспечивали ее основы и конструктивные принципы, ставшие благодаря математически-естественнонаучной выучке для ее творца второй природой.

Настаивая на подобной школе для философа, я, разумеется, не хочу утверждать, что науки о духе, например, филология или юриспруденция, со своей стороны, также не давали великолепных образцов точного мышления, четкого образования понятий и строгого доказательства. <...> Если бы, таким образом, речь шла о формальной только школе, я бы не делал такого акцента на помощь со стороны естествознания. Но оно предоставляет предметные (sachliche) точки соприкосновения для рассмотрения мировоззренческих вопросов, с которыми, при сегодняшних обстоятельствах, нельзя совладать, опираясь лишь на дилетантскую осведомленность. Однако, если их изучить достаточно, мы можем надеяться на богатые результаты. Именно в этом направлении лежат основные пути прогресса. <...> Земля и небо начинают открывать свои тайны любознательному человеческому духу. И как может в эти времена философ безучастно стоять в стороне?

Таким образом, и здесь, когда мы сегодня пытаемся понять психический и физический мир в его взаимосвязи как великий причинно-временной процесс, речь идет о принципиально новом воззрении. Чтобы быть к нему готовым, философу необходимо позаимствовать инструментарий в первую очередь из ботаники и зоологии. Неорганическая природа с одной стороны и духовная жизнь с другой приведут к обобщениям, возможно даже к глубочайшим прозрениям, а общие воззрения, к которым ученые таким образом подойдут, могут даже обнаружить определенное сходство с диалектическими формулами Гегеля. Однако свой реальный смысл и убедительную силу они могут обрести лишь в движении снизу вверх. Только так можно строить здание. <...>

<...> возникла еще одна область, в которой психологи и естествоиспытатели со времен Гельмгольца работают вместе – феноменология, или анализ, анализ чувственных явлений самих по себе, продвигающийся вплоть до самых последних элементов. Явления цвета, звука, запаха, образы в пространстве и времени – не есть сам физический мир, являющийся духу естествоиспытателя, не являются они и миром психическим\*. Однако они – материал, из которого черпает физик, а также исходный пункт и питательная среда всей душевной жизни. Поэтому в феноменологии нуждается как естествоиспытатель, так и исследователь духа. Более всего она необходима философии, которая должна равным образом принимать во внимание как природу, так и дух. <...> Итак, именно по этим причинам мы настаиваем на естественнонаучно ориентированной и подкрепленной философии.

Однако – и это следует подчеркнуть сейчас не менее энергично – если философию отдадут в руки одних только наук о природе, для нее это будет означать гибель. Против подобных попыток, а их сейчас достаточно, я готов протестовать едва ли не более решительно, чем против мечтаний идеалистов. Ведь одно дело – наиболее целесообразное полагание основ (Grundlegung), и совершенно другое – конкретное проведение философских исследований. Одного естествознания для этого недостаточно. Бесконечно многообразные, своеобразные явления внутренней жизни чужды физике. Даже психология в обычном смысле, занимающаяся лишь элементарными функциями, не способна отобразить душевную жизнь во всем ее богатстве. Здесь в дело вступают конкретные науки о духе и те дисциплины философии, которые, так сказать, собирают из них нектар: эстетика, этика, философия права и общества, философия истории. Однако и они уже не могут сегодня строиться «сверху», но лишь «снизу»\*, и мы видим, что их сторонники стараются совладать со всей палитрой известных из опыта различий вкуса, нравов и обычаев, о которых сообщают история и сравнительная этнография. <...>

Мы без труда распознаем приоритетность духа в том смысле, что лишь духовное в нашем познании непосредственно дано как реальность, тогда как о действительности вещей, соответствующих нашим ощущениям наших чувств\*, можно в лучшем случае гипотетически заключать. Не менее мы едины в том, что лишь в духовной жизни можно говорить о непосредственных ценностях, благах и целях, в том, что первичные ценности могут быть нам даны не рассудком, но лишь только в чувстве. Мало кто станет отрицать и то, что именно воля, причем большей частью нравственная воля образует центр развитой духовной жизни, и что только лишь рецептивное бытие в ней мало что значит. Исключительной чертой духовного является, далее, то, что, вслед за Августином, следует назвать великой тайной, а именно: что оно может сохранять в себе прошлое в форме временного сознания, и что благодаря тому становится возможным своего рода суммирование истинных ценностей, как то известно каждому из опыта своей собственной души, обретаемого в процессе взросления.

<...> Естественнаучная теория развития навела многих на мысль, что совершенное будет всегда лишь концом, а не началом развития, как в великом, так и в малом. Если эта идея утвердится, если она выстоит под напором всех противоположных соображений, мировоззрение будущего предстанет в совсем ином свете. Ясно, по крайней мере, следующее: новая эпоха с обновленной силой ставит философов перед древнейшим из вопросов. Но ясно и то, что здесь недостаточно будет ни обновления диалектических искусств, ни ссылок на непосредственную интуицию, ни Кантовой критики познания. <...> Здесь все должно быть подвергнуто ревизии, начиная от постановки вопросов и заканчивая выводами.

Ничто так ярко не показывает мощные брожения нашей эпохи как процессы преобразования, которых не могут избежать даже фундаментальные воззрения, имеющие более чем тысячелетнюю историю.. Но если большая часть официальных представителей философии с неохотой касаются конечных вопросов всякого знания, то это объясняется не малодушным скептицизмом\*. Дело и не в боязни верховной власти государства, что с такой суровостью вменяет в вину своим современникам Шопенгауэр. Дело в следствиях из того типа мышления, который Шопенгауэр столь же чужд, как и идеалисту. Мышление это осмеливается приблизиться к наиболее сложному, Высшему и Последнему лишь в процессе бесконечного прогресса, следующего из работы над понятиями опыта.

И если новую постановку старых проблем, новые средства и пути исследований, новую энергию и юношескую смелость ищущего считать знаками научного возрождения мы со спокойной уверенностью можем сказать: философия возродилась. Вместо ушедшей на дно Атлантиды идеалистически-конструктивных систем возник новый континент. Очень медленно его возвышение, но кажется, что с каждым десятилетием его площадь растет, а очертания становятся все более четкими. На его побережьях постепенно утихают оставленные катастрофой волны. Именно такими последними всплесками следует считать все попытки, переодеть старые системы в модернизированное одеяние. Мы видим, что на полях новой земли трудится бесчисленное количество тружеников. Они держат факелы и передают огонь далее. Они копают и строят, используя обломки даже и той древесины, что выбрасывают на берег те самые волны. Их самоотверженная работа над деталями – тоже идеализм. <...> Какое богатство познаний и открытий стало доступно благодаря такому способу работы! ... И смеет ли кто, потому, требовать, чтобы наука изменила свое движение и развивалась иначе?»\* Полагаю, есть много поводов сказать, что науки о духе стали сегодня менее философскими. Но философствуют они другим образом. Как теперь и сами философы.

Одного, конечно, недостает на новом континенте: верховного главы. Возможно, высшей инстанции в смысле всевластия у нас уже никогда не будет. <...> Создание обширных, связанных жестким догматизмом школ – дело все более редкое. И жалеть об этом не стоит. Тот, кто любит науку больше славы, должен по мере сил противодействовать подобному складыванию школ\*. С другой стороны, чем далее продвигаются науки, тем более сложным становится сведение воедино наиболее общих результатов исследований. С легкостью это будет всегда даваться лишь тем, кто беззаботно смешивает разнородное и даже несовместимое, но не тем, кто честь философа усматривает в высшей точности и последовательности. Еще и по этой причине современное состояние является вполне понятным побочным явлением новых устремлений. Здесь мы также имеем дело с симптомом прогресса, в действительности таковым не являющимся. Элегические слова, однажды сказанные Моммзенем об университете Лейбница, мы можем с той же тональностью повторить и сегодня: «Работу нашу не похвалит ни один мастер, никогда взгляд мастера не возрадуется, глядя на него. Ибо нет у нее мастера, а мы все – лишь подмастерья»\*. Правда, к определенному единому строю идей приходит всякий, чье зрение направлено на Величайшее и кто обращает на него все силы мышления и воображения. Ведь единство не есть особая черта отдельных систем, которой хотя бы добиться с помощью схематизирующих формул, а наиболее естественное свойство всякого вполне проработанного комплекса идей. Если таковые комплексы образуются в новых индивидуумах, и мнимые противоречия при этом постепенно растворяются, то возрастающей прибылью от работы многих – причем, им не обязательно всегда быть философами, – станет новое консолидированное мировоззрение. Удовлетворит ли оно душу так же, как и рассудок, будет отчасти зависеть и от самой души – ведь и она подвержена определенным преобразованиям. Не каждый тоскует по богам Греции или Египта, а что касается мира христианства, по крайней мере, личный дьявол уже не относится к потребностям нашего сердца.

Следуя этими путями, некоторые обрели утраченную было гармонию мышления и чувствования на новом уровне своей личности и нашли сторонников своих идей. Однако высочайшая награда работы человеческого духа еще ждет своего победителя. Необходимо создать мир идей, равным образом объемлющий науки о природе и науки о духе, который предметной (sachlicher) силой убеждения подчинил бы широчайшие круги исследователей, а через них наполнил бы новым цветением жизни образованное человечество. Но это удалось бы лишь королевскому гению, если только он сегодня еще возможен, соответствовать ему могла бы математически-физикалистская одаренность Лейбница, необъятная широта его интересов, прозрачная ясность его мысли в соединении с пронзительной глубиной мысли Канта и его этическим пафосом. Будем надеяться, что такой гений придет и что нашему немецкому Отечеству доведется его родить. Будем также надеяться, что бы ни принесло с собой будущее, оно не отнимет у нас трех вещей. Единства в семье наций, призванных к общей духовной работе, простоты чувства, без которой искусительное знание не приведет нас к истине, а также свободы научного исследования и преподавания. Нет ни одной науки, в которой потребность в них была бы больше, чем в философии.